

Луна и шестипенсовик

Автор:

Сомерсет Моэм

Луна и шестипенсовик

Сомерсет Моэм

Чарльз Стрикленд, мелкий лондонский биржевой маклер, в котором никто из друзей и близких не замечал ничего необычного, после семнадцати лет брака, внезапно бросает жену и детей. Он уезжает в Париж и приводит в немалое изумление свою семью и знакомых сообщением о том, что он принял решение уехать, чтобы стать художником. Он начинает рисовать совершенно нестандартно, не обращая внимания на свое окружение и их мнение. Несмотря на такое безразличие к окружающим, он оказывает на них огромное влияние, подчиняя их своей воле, часто доставляя немало страданий своей жестокостью и равнодушием.

Сомерсет Моэм

Луна и шестипенсовик

SOMERSET MAUGHAM

«The Moon and Sixpence», 1919

Перевод с английского Зинаиды Вершининой

© ИП Воробьев В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

Глава I

Признаюсь, когда я впервые встретился с Чарльзом Стриклэндом, я не заметил в нем ничего необыкновенного. Однако теперь никто не станет отрицать, что он был действительно необыкновенным и великим человеком. Я не говорю о величии, которое приобретает счастливый политик или победоносный воин: в этом случае величие принадлежит не человеку, а скорее месту, и перемена внешних условий низводит его к очень скромным размерам. Первый министр вне своего министерства часто оказывается напыщенным болтуном, а генерал без армии – скромным героем провинциального городка. Величие Чарльза Стриклэнда было подлинное. Возможно, что вам не нравятся его произведения, но вы не можете пройти мимо них, не заинтересовавшись художником. Он волнует и приковывает к себе.

Прошло то время, когда над Стриклэндом издевались; теперь уже не считается признаком эксцентричности защищать его или признаком развращенности – восхищаться им. Его ошибки принимаются как необходимое дополнение к его заслугам. Возможно еще спорить о его месте в искусстве, и льстивые похвалы его поклонников, может быть, не менее пристрастны и беспочвенны, чем хула его клеветников, но одно несомненно: Стриклэнд гениален.

По моему мнению, самое интересное в искусстве-личность художника, и, если она самобытна, я готов простить ему тысячи ошибок. Думаю, что Веласкес, как живописец, был лучше, чем Эль Греко, но, привыкая, Веласкесом перестают восхищаться, а гениальный критянин, чувственный и трагический, предлагает нам тайну своей души, как вечный, неизменный дар. Артист, живописец, поэт или музыкант своим произведением, величественным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство, родственное сексуальному инстинкту и столь же мучительное и жестокое как этот инстинкт: художник, таким образом, приносит вам самый ценный дар – самого себя. Проследить его тайну – в этом таится нечто увлекательное, как в детективном рассказе. Это – загадка,

разделяющая со вселенной право оставаться всегда без ответа. Самые незначительные работы Стрикленда приоткрывают странную, тревожную и сложную личность: в этом-то, вероятно, и заключается причина, почему даже те, кому не нравятся его картины, не могут оставаться равнодушными к нему самому: в этом – причина того странного интереса, который проявляют все к его жизни и его характеру.

Прошло четыре года после смерти Стрикленда, когда в «*Mercure de France*» появилась статья Мориса Гюра, спасшая неизвестного художника от забвения и проложившая путь к дальнейшему изучению его творчества. По этому пути писатели с той поры и следовали с большим или меньшим подчинением. Давно уже ни один критик не пользовался во Франции таким авторитетом, и невозможно было не поддаться силе его соображений. Они казались парадоксальными, однако позднейшие исследования подтвердили его оценку, и репутация Чарльза Стрикленда теперь прочно установлена именно на основе взглядов, высказанных Гюре. Рост славы Стрикленда – одна из самых романтических страниц в истории искусства.

Но в мою задачу не входит разбирать произведения Чарльза Стрикленда: я коснусь их только в связи с его характером. Кроме того, я решительно не могу согласиться с художниками, надменно заявляющими, будто просто зритель ничего не понимает в живописи и что свою оценку их работ он может проявить всего лучше молчанием или чековой книжкой. Разумеется, это утверждение нелепо. Высказывающие подобное мнение, грубое и ошибочное, видят в искусстве лишь ремесло, понятное только представителям этого ремесла. Между тем искусство есть проявление эмоций, а эмоции говорят языком, понятным каждому. Впрочем, допускаю, что критик, не обладающий практическими познаниями в технике искусства, едва ли может сказать что-либо действительно ценное о художественном произведении, а я к тому же совершенный невежда в живописи. К счастью, мне нет надобности пускаться в рискованные рассуждения после того, как мой друг, Эвард Леггатт, талантливый писатель и прекрасный художник, дал исчерпывающую характеристику работ Чарльза Стрикленда в небольшой книжке, являющейся одновременно и образцом прекрасного стиля, над которым в Англии работают гораздо меньше, чем во Франции[1 - Современный художник. Замечания о работах Чарльза Стрикленда, соч. Эдварда Леггатта, изд. Мартин Сикер, 1917.].

Морис Гюре в своей знаменитой статье дал беглый очерк жизни Чарльза Стрикленда, весьма искусно возбуждая аппетит к дальнейшему изучению

художника. Его бескорыстная страсть к искусству диктовала ему одно желание: привлечь внимание истинных знатоков к таланту, необычайному по своей оригинальности; но Гюрэ был слишком хорошим журналистом и потому не мог не знать, что, возбудив «интерес» к человеку, он легче достигнет своей цели. И когда те, кому приходилось раньше сталкиваться со Стриклендом – писатели, знавшие его в Лондоне, художники, встречавшие его в маленьких кафе на Монмартре, – открыли, к своему удивлению, что тот, в ком они видели простого художника-неудачника, подобного многим другим, был подлинный гений, живший с ними плечо, к плечу, – во всех французских и американских журналах появился ряд статей разных авторов: одни выступали с воспоминаниями, другие – с оценкой работ Стрикленда. Это увеличивало известность Стрикленда, разжигало, не удовлетворяя полностью, любопытство публики. Тема была благодарная, и трудолюбивый Вейтбрехт-Ротхольц в своей внушительной монографии[2 - Чарльз Стрикленд. Его жизнь и искусство, соч. д-ра Гуго Вейтбрехт-Ротхольц, изд. Швингель Ханиш, Лейпциг, 1914.] мог привести большой список литературы о Стрикленде.

Способность творить мифы – прирожденное свойство человека. Люди с жадностью хватаются за всякий удивительный или таинственный случай в жизни тех, кто отличается от своих ближних, и создают легенду, в которую затем фанатически верят. Это – протест романтики против пошлости жизни. Отдельные эпизоды подобных легенд составляют вернейший паспорт на бессмертие. Философ с иронической улыбкой размышляет о том, как сэр Уолтер Раллей прочно врезался в память человечества тем, что расстелил перед королевой – девственницей[3 - Английская королева Елизавета I (1558–1603).] по грязи свой плащ, а не тем, что он водрузил английский флаг в неизвестных до того времени странах.

Чарльз Стрикленд жил замкнуто. Он легче приобретал врагов, чем друзей. Неудивительно поэтому, что те, кто писал о нем, постарались приукрасить свои скудные воспоминания пылкой фантазией; но, очевидно, то небольшое, что было известно о его жизни, давало достаточный повод для романтических измышлений. В его жизни было много странного и ужасного, в характере было нечто неистовое и жестокое; вообще его судьба трагична. И вот легенда, разрастаясь, обвила его жизнь такими выразительными подробностями, перед которыми останавливается в колебании рука даже наиболее объективного историка.

Пастор Роберт Стрикленд как раз не был таким объективным историком. Он написал биографию своего отца[4 - Стрикленд, его личность и работа, соч. его сына Роберта Стрикленда, изд. В.Хайнемана, 1913.] явно с целью устранить некоторые утвердившиеся ложные представления относительно последних лет жизни Стрикленда, «причиняющие большое страдание лицам, оставшимся в живых». Разумеется, многое из того, что сообщалось о жизни Стрикленда, должно было смущать его почтенную семью. Я прочел труд Роберта Стрикленда, искренне забавляясь, но в то же время подумал: хорошо, что книга бесцветна и скучна. Пастор начертал портрет прекрасного мужа и отца – человека мягкого характера, трудолюбивого и строго нравственного. Современный богослов при изучении своей науки, которая, если не ошибаюсь, зовется «экзегетика»[5 - Экзегетика – наука, излагающая правила толкования текстов священного писания.], приобретает обычно удивительную способность разъяснять все вещи, и ловкость, с какой его преподобие Роберт Стрикленд «истолковал» факты из жизни своего отца, казавшиеся почтительному сыну неудобными для воспоминаний, должна несомненно привести его в свое время к высокому положению в церкви. Я уже вижу его мускулистые икры, обтянутые епископскими гетрами. Он совершил рискованный, хотя, может быть, и благородный поступок, так как легенда, сложившаяся вокруг имени Стрикленда, немало содействовала росту его известности. Многие произведения Стрикленда привлекали потому, что их или возмущала его жизнь или вызывала сострадание его смерть. А благонамеренные старания его сына только охладили поклонников Стрикленда. И когда одно из самых замечательных его произведений: «Самаритянка»[6 - Картина была описана в каталоге Кристи следующим образом «обнаженная женщина-туземка островов Товарищества, лежит на земле около ручья. Сзади виднеется тропический пейзаж с пальмами, бананами и т. д. Размер 60x48 дюймов.] появилось на аукционе Кристи вскоре после издания вышеуказанной биографии, то не случайно оно было продано на 235 фунтов стерлингов дешевле, чем девять месяцев назад, когда оно было приобретено знаменитым коллекционером, смерть которого привела картину вновь на аукцион.

Может быть, сила и оригинальность Стрикленда оказались бы недостаточными, чтобы поправить дело, если бы замечательная склонность человечества к мифотворчеству не отбросила нетерпеливо этой биографии, ни в какой степени не удовлетворявшей стремления людей к необычному, а затем доктор Вейтбрехт-Ротхольц не выпустил работу, окончательно рассеявшую сомнения всех любителей искусства. Доктор Вейтбрехт-Ротхольц принадлежит к той школе историков, которые считают, что человеческая натура не только плоха в той мере, как ее обычно изображают, но на самом деле даже гораздо хуже.

Однако читатель получает от их работ более удовлетворения, чем от тех писателей, которые находят удовольствие в том, чтобы выставлять великие романтические фигуры образцами домашних добродетелей. Что касается меня, я очень огорчился бы, если бы оказалось, что связь Антония и Клеопатры покоилась исключительно на экономическом интересе, и потребуются доказательства особенной и чрезмерной силы, чтобы убедить меня, будто Тиберий был таким же безупречным монархом, как и король Георг V.

Доктор Вейтбрехт-Ротхольц в таких выражениях раскритиковал невинную биографию, написанную преподобным Робертом Стриклэндом, что трудно не поддаться некоторому чувству симпатии к злосчастному пастору. Его благопристойную сдержанность Вейтбрехт клеймит как лицемерие, его уклончивость называет ложью, а замалчивания поносит как предательство. И на основании этих погрешностей, недопустимых у серьезного биографа, но извинительных у сына, Вейтбрехт-Ротхольц обвиняет англо-саксонскую расу в жеманстве, лицемерии, самонадеянности, плутовстве, лукавстве и недобросовестности. Лично я думаю, что было опрометчиво со стороны пастора, желая положить конец слухам о некоторых «неприятностях» между его отцом и матерью, утверждать, будто Чарльз Стриклэнд в письме, написанном из Парижа, называет свою жену «превосходной женщиной». Доктор Вейтбрехт-Ротхольц печатает факсимиле того же письма, из которого явствует, что приведенные слова вставлены в следующую фразу: «Будь проклята моя жена, хоть она и превосходная женщина. Хотел бы, чтобы она отправилась в ад!»

Доктор Вейтбрехт-Ротхольц был восторженным поклонником Чарльза Стриклэнда, и потому нельзя было опасаться, что он постарается обелить Стриклэнда. Вейтбрехт безошибочно угадывал неблагоприятные мотивы в самых невинных по виду поступках. Он был таким же хорошим психопатологом, как и знатоком искусства, и в подсознательной области для него почти не было тайн. Ни один мистик не проникал глубже его в смысл обыденных вещей. Мистик видит неисповедимое, психопатолог – не сказуемое. Очаровательно увлечение, с которым ученый автор выкапывает разные черточки, способные бросить тень на его героя. Его сердце отогревается, когда он может привести какой-нибудь пример жестокости или низости, и он ликует, как инквизитор на ауто-да-фе еретика, когда, открывая какую-нибудь забытую историю, может смутить сыновний пиетет пастора Стриклэнда. Прилежание его изумительно. Ничто не могло ускользнуть от него, как бы ни был мелок факт, и будьте уверены, что, если Чарльз Стриклэнд оставил неоплаченный счет прачки, документ будет приведен *in extenso* [7 - *In extenso* (латин.) – полностью.]; а если Стриклэнд уклонился от уплаты занятой им полкроны, то ни одна подробность этой сделки

не будет пропущена.

Глава II

Но если о Чарльзе Стриклэнде написано так много, то не может ли показаться, что мои воспоминания о нем не нужны? Памятник художника – его работа. Правда, я знал Стриклэнда более близко, чем многие другие. Я встретился с ним в первый раз, когда он еще не был художником, видел его довольно часто и во время трудных лет, проведенных им в Париже. Но все же не думаю, чтобы я выступил с воспоминаниями о нем, если бы война случайно не забросила меня на острова Таити. Там, как известно, Стриклэнд провел последние годы своей жизни. Там мне пришлось столкнуться с людьми, близко его знавшими. Я получил возможность пролить свет как раз на ту часть его трагической жизни, которая оставалась наиболее темной. Если те, кто верит в гениальность Стриклэнда, правы, – личные рассказы людей, близко соприкасавшихся с ним, вряд ли могут быть излишними. Чего бы мы не дали теперь за воспоминания лиц, знавших Эль Греко так близко, как я Стриклэнда?

Но я не пробую оправдываться. Кто-то, – не помню, кто, советовал людям для блага души делать ежедневно две вещи, которых они не любят. Это был мудрый человек, и я с точностью следовал его совету: каждый день я вставал и каждый день ложился в постель. Но в моем характере есть склонность к аскетизму, и я раз в неделю подвергал свою плоть еще более суровому испытанию. Я всегда читал «Литературное приложение» к «Таймсу». Целительная дисциплина созерцать громадное количество новых книг, светлые надежды, с какими авторы смотрят на них при их выходе в свет, судьбу, подстерегающую их. Есть ли шансы для книги быть замеченной среди этого множества? И даже те книги, на долю которых выпадет успех, пользуются успехом в течение лишь одного сезона.

Одному небу известно, какие муки выносит автор, какой горький опыт преодолевает он, чтобы дать случайному читателю развлечение на несколько часов или смягчить ему скуку путешествия... А, судя по рецензиям, многие из этих книг хорошо и тщательно написаны; мысль напрягалась для их сочинения; некоторые из них потребовали упорного труда в течение всей жизни. Мораль, которую я вывожу из этого: автор должен искать себе награды в удовольствии от своей работы и в освобождении от тягости своей мысли. Ко всему остальному

он должен быть равнодушен – к похвале, порицаниям, к успеху или неудаче.

Пришла война и принесла большие перемены. Молодежь обратилась к богам, которых мы, люди старого поколения, не знали, и уже можно угадывать то направление, по которому устремятся идущие за нами. Молодое поколение, сознающее свою силу и мятежное, уже не стучит в наши двери, а врывается внутрь и усаживается на наших местах. Воздух наполнен криками. Некоторые из стариков подражают кривлянию молодежи и стараются убедить себя, что их день еще не прошел; они кричат вместе с наиболее голосистыми, но их воинственные крики звучат надрывно. Старички напоминают жалких кокоток, которые при помощи карандаша, румян и пудры пытаются с деланным веселием вернуть иллюзию своей весны. Более мудрые держатся своего пути с благопристойным спокойствием, и в их сдержанной улыбке мелькает снисходительная насмешка. Они помнят, как в свое время с таким же шумом и презрением они вытесняли усталое поколение, и они предвидят дни, когда и нынешние brave факельщики принуждены будут уступить свои места. И их слово не есть последнее слово. Наше новое евангелие было уже старо, когда Ниневия возносила свое величие к небу. Смелые слова, которые кажутся столь новыми для тех, кто их говорит, были уже сказаны почти без изменения сотни веков назад. Маятник качается взад и вперед. Движение совершается снова и снова по кругу.

Иногда человек переживает свое время, в котором он занимал определенное место, и попадает в чуждую ему эпоху. Тогда получается одно из любопытнейших зрелищ в человеческой комедии. Кто, например, вспоминает теперь о Джордже Краббе? А он был в свое время знаменитым поэтом, и мир признал его гениальным с единомыслием, которого наше сложное время почти не знает. Крабб вышел из школы Александра Попа и писал нравоучительные рассказы рифмованными куплетами. Затем пришла французская революция, разразились наполеоновские войны, и поэты запели новые песни. Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными куплетами. Вероятно, он читал стихи тех юношей, которые вызвали великое волнение в мире, и думаю, что эти стихи казались ему жалкими. Конечно, многие из них такими и были. Но оды Китса и Вордсворта, одна-две поэмы Кольриджа и стихи Шелли открыли обширные области духа, которых никто не исследовал раньше. Крабб был туп, как баран. Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными куплетами... Я читаю отрывками писания нового поколения. Может быть, среди них какой-нибудь более пылкий Китс и более возвышенный Шелли уже опубликовали произведения, которые мир будет благодарно помнить. Ничего не могу сказать. Я люблю их тщательной отделкой, их юность

использована с такой полнотой, что кажется абсурдом говорить об обещаниях. Я удивляюсь легкости их стиля (их словарь доказывает, что они перелистывали в детстве «Сокровищницу» Роджета), но, несмотря на все их словесные богатства, они ничего не говорят мне; по-моему, они знают слишком много и чувствуют слишком просто. Я не выношу их сердечности, с какой они похлопывают меня по спине, или их волнения, с которым они бросаются ко мне на грудь. Их страсть кажется мне анемичной, а их мечты чуточку скучными. Нет, они не нравятся мне. Признаю себя устаревшим. Я буду продолжать писать поучительные рассказы рифмованными куплетами. Но я был бы трижды глупцом, если бы стал делать это ради чего-либо иного, кроме собственного развлечения.

Глава III

Но все это, между прочим. Я был очень молод, когда написал свою первую книгу. По счастливой случайности она возбудила внимание, и разные лица искали знакомства со мной.

Не без грусти блуждаю я среди своих воспоминаний о литературном мире Лондона и оживляю те дни, когда я, застенчивый, но пылкий, впервые был введен туда. Давно я перестал посещать его, и, если романы точно описывают современные особенности литературных кругов, – многое изменилось в них теперь. Обстановка иная. Кварталы Хамстед, Ноттинг-Хилл-Гейт и Хай-Стрит, Кенсингтон уступили место Челси и Блумсбери. Тогда считалось почетным быть сорокалетним, а теперь возраст старше двадцати пяти лет признается нелепым. Мне помнится, в те дни мы несколько стеснялись наших чувств, и страх показаться смешным умерял даже легкие проявления самонадеянности. Я не думаю, чтобы среди скромной богемы того времени господствовал чрезмерный культ целомудрия, но я не помню такой беспорядочной неразборчивости, какая, видимо, практикуется теперь. Мы не считали лицемерием набросить покров благопристойного молчания на наши безрассудства. Мы не стремились во что бы то ни стало называть вещи прямыми именами. Женщина также не была еще введена в круг этой беззастенчивой откровенности.

Я жил около станции «Виктория» и помню долгие переезды в омнибусе в те кварталы, где находились гостеприимные дома литераторов. Охваченный робостью, ходил я взад и вперед по улице, пока, наконец, набирался храбрости

дернуть звонок; а затем, больной от страха, входил в душную комнату, наполненную гостями. Меня познакомили с одной знаменитостью, с другой, и любезные слова, которые они роняли о моей книге, приводили меня в мучительное смущение. Я чувствовал, что они ожидали от меня умных замечаний, но мне приходили в голову удачные ответы только после окончания вечера. Я пытался скрыть свое смущение, передавая соседям чай и плохо нарезанный хлеб с маслом. Мне хотелось, чтобы никто не замечал меня и чтобы я мог спокойно наблюдать этих знаменитых особ и слушать умные вещи, которые они говорят.

Мне вспоминаются крупные, точно окоченевшие дамы с большими носами и хищными глазами, которые носили платья точно кольчугу, и маленькие, похожие на мышек, девицы с нежными голосами и колючими взглядами. Меня поражала их настойчивость, с которой они пожирали поджаренные ломтики хлеба с маслом, не снимая перчаток; и я с восхищением наблюдал беспечность, с какой они вытирали пальцы о кресло, когда думали, что на них никто не смотрит. Это было нехорошо для мебели, но, вероятно, хозяйка мстила мебели своих друзей, когда, в свою очередь, навещала их. Некоторые из дам одевались по моде и говорили, что не могут понять, почему «вам следует быть неряхой, если вы написали роман, и что если у вас красивая фигура, то нужно пользоваться этим возможно лучше, а изящная обувь на маленькой ножке никогда не мешала редактору взять вашу вещь». Другие дамы считали подобный взгляд легкомыслием и потому носили платья фабричного производства и аляповатые драгоценности. Мужчины редко стремились к эксцентричности в своей наружности. Они старались как можно меньше походить на писателей. Они желали, чтобы их принимали за светских людей, и кое-где могли сойти за старших конторщиков торговой фирмы. Они всегда казались немного утомленными. Я никогда не встречался с писателями раньше, и они казались мне немного странными.

Помню, что их беседу я находил блестящей, и с удивлением слушал их ядовитый юмор, с которыми они терзали сотоварища-автора, как только он поворачивался к ним спиной. У художника есть преимущество перед остальными людьми: его друзья дают ему пищу для его сатиры не только своей внешностью и характером, но и своей работой. Я приходил в отчаяние от своей неспособности так ловко и легко выражать свои мысли. В те дни умение вести разговор культивировалось еще как искусство. Остроумный быстрый ответ ценился больше, чем скрытое глубокомыслие, а эпиграмма, еще не превратившаяся в автоматическое пособие, с помощью которого тупость может казаться остроумием, придавала оживление светской болтовне. К сожалению, я ничего не

могу припомнить из этого словесного сверкания. Но помню, что беседа становилась особенно приятной и оживленной, когда касалась чисто коммерческих вопросов, что было оборотной стороной нашей профессии. Когда мы заканчивали обсуждение достоинств только что вышедшей в свет книги, было естественно заинтересоваться, сколько экземпляров ее разошлось, какой аванс получил автор и на какой доход он может рассчитывать. Затем мы говорили об издателях, сравнивая щедрость одного со скарденностью другого, и обсуждали, что лучше – идти ли к тому, кто великолепно платит, или к тому, кто умеет «проталкивать» книгу, чего бы это ни стоило. Одни издатели плохо пользовались рекламой, другие – хорошо. Одни улавливали современность, другие были старомодны. А потом разговор переходил на комиссионеров и их покушения на нас, на редакторов газет, на то, какие статьи они предпочитают, сколько платят за тысячу слов и как выдают гонорар быстро, или с задержкой. Все это звучало для меня романтично. Я чувствовал себя сочленом какого-то таинственного братства.

Глава IV

Никто не был со мною в те дни так любезен, как Роза Уотерфорд. Она соединяла в себе мужской ум с женской изворотливостью, а романы, которые она писала, смущали публику своей оригинальностью. В ее доме я встретил однажды жену Чарльза Стриклэнда. У Розы Уотерфорд был званый чай, и ее маленькая комната была набита людьми более обыкновенного. Казалось, все говорили одновременно, и я, все время молчавший, чувствовал себя неловко: я был слишком конфузлив, чтобы вмешаться в разговор той или иной группы, по-видимому, весьма увлеченной своей темой. Роза Уотерфорд была хорошей хозяйкой и, видя мое смущение, подошла ко мне.

– Я хочу, чтобы вы побеседовали с миссис Стриклэнд. – Она без ума от вашей книги.

– А что она делает? – спросил я.

Я сознавал свое неведение, и если миссис Стриклэнд была известной писательницей, я хотел узнать об этом прежде, чем вступить с ней в беседу.

Роза Уотерфорд опустила глаза с притворной серьезностью, чтобы придать особый эффект своим словам.

– Она устраивает званые завтраки, сказала она. – Если вы постараетесь помычать немного, она пригласит вас.

Роза Уотерфорд была циником. Она смотрела на жизнь как на подходящий случай для писания романов, на людей – как на свой сырой материал. По временам она приглашала к себе тех, кто ценил ее талант, и щедро угощала их. Она потакала их тяготению к знаменитостям и с добродушным пренебрежением и с достоинством играла перед ними роль известной писательницы.

Она подвела меня к миссис Стрикленд, и мы поговорили минут десять. Я не заметил в ней ничего особенного, кроме приятного голоса. Обнаружилось, что ее квартира была в Вестминстере и выходила окнами на недостроенный собор, и мы почувствовали симпатию друг к другу, так как оказались соседями. Магазин «Армии и Флота» является звеном, соединяющим всех, кто живет между Темзой и Сент-Джемским парком. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и через несколько дней я получил от нее приглашение на завтрак.

Приглашений я получал немного и с радостью ответил согласием. Когда я вошел с маленьким опозданием (из страха прийти слишком рано, я обошел три раза кругом собора), я нашел уже всех в сборе. Здесь были: миссис Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Туайнинг и Джордж Роуд. Все – писатели. Выдался прекрасный день ранней весны, и все мы находились в отличном настроении. Говорили о тысяче вещей. Мисс Уотерфорд, колеблющаяся между эстетизмом своей юности, когда она являлась на обеды в строгом зеленом платье с нарциссом в руках, и легкомыслием зрелых лет, влекущим ее к высоким каблукам и парижским платьям, – была в новой шляпе. Это делало ее чрезвычайно остроумной. Я никогда не слышал от нее более злых замечаний о наших общих друзьях. Миссис Джей, убежденная, что неприличие – душа остроумия, произносила почти шепотом свои остроты, способные окрасить румянцем даже белоснежную скатерть. Ричард Туайнинг бормотал какой-то причудливый вздор, а Джордж Роуд, зная, что ему незачем выставлять блеск своего остроумия, вошедшего почти в поговорку, открывал рот лишь за тем, чтобы положить туда еду. Миссис Стрикленд говорила мало, но у нее был счастливый дар – поддерживать общий разговор. Когда наступало молчание, она бросала удачное словечко, и беседа закипала снова. Миссис Стрикленд была женщина лет тридцати семи, довольно высокая, полная, но не толстая; она не

была красива, но лицо ее было очень приятное, вероятно, от добрых карих глаз. Темные волосы были тщательно причесаны. Из трех присутствующих дам у нее одной лицо не было намазано, и по контрасту с другими она казалась простой и безыскусственной.

Столовая была обставлена в хорошем вкусе того времени. Все – очень строго. Высокая панель из белого дерева, зеленые обои, гравюры Уистлера в изящных черных рамах. Зеленые портьеры с узором павлиньих перьев, висевшие прямыми линиями, и зеленый ковер, на котором были изображены белые кролики, резвящиеся среди покрытых листьями деревьев; рисунок намекал на влияние Вильяма Морриса. На полке камина виднелся синий голландский фаянс. В то время в Лондоне, вероятно, было пятьсот столовых, убранных совершенно таким же образом: скромно, артистично и скучно.

Я вышел от миссис Стрикленд вместе с мисс Уотерфорд. Великолепный день и ее новая шляпа убедили нас побродить по парку.

– Приятный дом, сказал я.

– А завтрак по-вашему, был хорош? – спросила она. – Я сказала ей, что если она хочет созывать писателей, то должна хорошо кормить их.

– Прекрасный совет, – ответил я: – Но на что ей нужны писатели?

Мисс Уотерфорд пожала плечами.

– Находит их забавными. Не желает отставать от современности. Она довольно простенькая, бедняжка, и считает нас всех удивительными. В конце концов ей доставляют удовольствие приглашать нас на завтраки, а нам это не вредит. Она нравится мне за это.

Оглядываясь назад, я думаю, что миссис Стрикленд была самой невинной из всех охотников за знаменитостями, преследовавших свою дичь от разреженных высот Хамстада до низменных студии на Чейн-Уок. Она провела тихую юность в провинции, и книги, которые она получала из лондонской библиотеки, приносили ей не только романтику героев этих книг, но и романтику самого Лондона. У нее была настоящая страсть к чтению, редкая черта в людях ее типа, которые обычно больше интересуются авторами, нежели их книгами, самими

художниками-нежели их картинами. Она создала себе воображаемый мир и жила в нем с той свободой, которой не могла достичь в повседневной жизни. Когда она познакомилась с писателями, она словно попала на сцену, которую раньше видела лишь из зрительной залы. Она драматизировала их, и ей казалось, что она жила теперь более широкой жизнью, потому что, угощая писателей, проникала за крепостные стены их домашней обстановки. Она считала правила, которыми они руководились в своей жизненной игре, законными для них, но ни на одну минуту не думала приспособить к ним свое собственное поведение. Духовная эксцентричность писателей, подобно странностям в их одежде и их диким теориям и парадоксам, были для нее развлечением, забавлявшим ее, но не оказывавшим ни малейшего влияния на ее убеждения.

- А мистер Стриклэнд существует? - спросил я.

- О, да! Кем-то, чем-то в Сити. Кажется, биржевой маклер. Тупой человек.

- А живут дружно?

- Обожают друг друга. Если будете у них обедать, встретитесь с ним. Но она не часто приглашает посторонних к обеду. Он очень скромен, несколько не интересуется ни литературой, ни искусством.

- Почему приятные женщины выходят за тупых мужчин?

- Потому что умные мужчины не женятся на приятных женщинах.

Я не мог найти быстрого ответа на это замечание, а потому спросил, есть ли у миссис Стриклэнд дети.

- Как же, мальчик и девочка. Оба в школе.

Тема была исчерпана, и мы заговорили о другом.

В течение лета я встречал миссис Стрикленд довольно часто. Я бывал на ее приятных маленьких завтраках или на более торжественных званых чаепитиях. Мы чувствовали симпатию друг к другу. Я был очень молод, и ей, может быть, нравилась мысль, что она направляет мои первые шаги на трудном пути литератора. А мне было приятно чувствовать, что есть кто-то, к кому я мог пойти с моими маленькими заботами, уверенный, что меня выслушают внимательно и дадут рассудительный совет. У миссис Стрикленд был дар сочувствия. Очаровательная способность, но ею иногда злоупотребляют те, кто сознает себя обладателем ее: с жадностью, напоминаящей вампира, вцепляются они в несчастья своих друзей, чтобы только поупражнять свою ловкость. Сочувствие бьет из них, как нефтяной фонтан, и они изливают свою симпатию с таким самозабвением, которое порой ставит в затруднение их жертвы. Есть сердца, на которые столько пролилось слез, что я не могу оросить их своими. Миссис Стрикленд пользовалась своим даром тактично. Вы чувствовали, что оказываете ей одолжение, принимая ее сочувствие. Когда с энтузиазмом юности я упомянул об этом Розе Уотерфорд, она сказала:

– Молоко очень приятно, особенно с несколькими каплями бренди, но домашняя корова только рада избавиться от него: разбухшее вымя – весьма стеснительная вещь.

У Розы Уотерфорд был язык вроде нарывного пластыря. Никто не мог наговорить более язвительных слов, но, с другой стороны, никто не знал и более очаровательных слов, чем она.

Миссис Стрикленд нравилась мне еще одним качеством. Она изящно управляла своим хозяйством. В ее квартире было всегда очень чисто и уютно, весело пестрели цветы; кретон на обивке гостиной, несмотря на строгий рисунок, сиял светлыми тонами. Завтраки в маленькой артистической столовой были очень приятны: стол убран красиво, две горничные – нарядные и смазливые: кушанья вкусно приготовлены. Трудно было не заметить, что миссис Стрикленд превосходная хозяйка. И вы были уверены, что она – превосходная мать. В гостиной были портреты ее сына и дочери. Сын – его звали Роберт-юноша шестнадцати лет, учился в Регби; на одной фотографии он был снят во фланелевом костюме и спортивной кепке для крикета, а на другой рядом – во фраке и тугом стоячем воротничке. У него был высокий чистый лоб и красивые задумчивые глаза, как у матери. Он производил впечатление аккуратного, здорового, нормального юноши.

- Не знаю, очень ли он умен, - сказала миссис Стрикленд однажды, когда я рассматривал фотографию ее сына, - но знаю, что он очень добрый мальчик. У него очаровательный характер.

Дочери было четырнадцать лет. Ее волосы, густые и темные, как у матери, падали пышными локонами на плечи. И у нее было такое же ясное лицо, спокойные, безмятежные глаза.

- Они оба - ваш портрет, - сказал я.

- Да, они, пожалуй, больше похожи на меня, чем на отца.

- Почему вы не познакомите меня с ним? - спросил я.

- А вы хотели бы?

Она улыбнулась, - у нее была действительно очень милая улыбка, - и покраснела немного; было удивительно, что женщина ее возраста так легко краснела. Возможно, что ее наивность была главным ее очарованием.

- Он, знаете ли, совсем не литературный человек: совершенный обыватель.

Она сказала это без пренебрежения, скорее любящим тоном, как бы желая защитить его от осуждения своих друзей.

- Он работает на бирже, типичный биржевой маклер. Я думаю, что вам будет с ним смертельно скучно.

- Разве вам скучно с ним? - спросил я.

- Но мне случилось стать его женой. Я очень привязана к нему.

Она улыбнулась, чтобы прикрыть свое смущение. Я подумал, не испугалась ли она, что я воспользуюсь ее признанием для колких шуток в будущем, как, вероятно, поступила бы Роза Уотерфорд. Миссис Стрикленд помедлила в нерешительности. Глаза ее стали нежными.

– Мой муж не претендует быть гением, – сказала она. Он даже на бирже зарабатывает немного. Но он ужасно мил и добр.

– Я уверен, он мне очень понравится.

– Как-нибудь я попрошу вас скромно пообедать с нами. Но помните, вы сделаете это на ваш собственный риск. Не браните меня, если вам придется провести скучный вечер.

Глава VI

Когда я, наконец, встретил Чарльза Стрикленда, обстоятельства позволили мне лишь поверхностно познакомиться с ним. Однажды утром миссис Стрикленд прислала мне записку, в которой говорилось, что она устраивает сегодня вечером обед и что один из ее гостей не может прийти. Она просила меня заполнить пустое место и тут же добавляла: «Считаю долгом хозяйки предупредить вас, что вам придется жестоко поскучать. Общество чрезвычайно скучное, но я буду вам особенно признательна, если вы придете. Мы с вами сможем немножко поболтать отдельно».

Я принял приглашение только потому, что был соседом миссис Стрикленд.

Когда миссис Стрикленд представила меня своему мужу, он довольно небрежно пожал мне руку. Весело обратясь к нему, она пыталась пошутить:

– Я пригласила его, чтобы показать, что у меня действительно есть муж. Мне кажется, он начинал уже сомневаться.

Стрикленд вежливо засмеялся, как обычно смеются в ответ на шутку, в которой не видят ничего смешного, но ничего не сказал. Новые гости отвлекли его внимание, и я был предоставлен самому себе. Когда наконец мы были все в сборе и ждали приглашения к столу, я, разговаривая с какой-то дамой, которая назначена была моей соседкой, размышлял, что культурные люди проявляют странную изобретательность в способах расходовать свою краткую жизнь на скучные церемонии.

Это был один из тех обедов, когда удивляешься, зачем хозяйка беспокоилась приглашать к себе гостей, и зачем гости утруждали себя приезжать сюда. Было всего десять человек. Встретились равнодушно и разошлись с облегчением. Чистейшая общественная повинность. Стрикленды должны были пригласить к обеду гостей, которыми они совершенно не интересовались, и они позвали их. Те пришли. Почему? Может быть, потому, чтобы избежать скучного обеда вдвоем, чтобы дать отдых своим слугам, или потому, что не было оснований отказаться, потому что «должны были пойти».

В столовой было тесновато. Здесь находились королевский советник и его жена, правительственный чиновник с женой, сестра миссис Стрикленд с мужем, полковником Мак-Эндрью и жена одного члена парламента. Я был приглашен именно потому, что члену парламента нельзя было уйти из палаты. Благовоспитанность публики казалась зловещей. Дамы были слишком красивы, чтобы быть хорошо одетыми, и слишком уверены в своем выдающемся положении, чтобы быть занимательными. От мужчин веяло солидностью. Воздух вокруг них дышал абсолютно устойчивым благополучием.

Каждый говорил немного громче обыкновенного, инстинктивно стараясь расшевелить общество, и в комнате гудел изрядный шум. Общего разговора, однако, не было. Всякий разговаривал со своим соседом, – с соседом направо во время супа, рыбы и закуски и с соседом налево во время жаркого, сладкого и овощей. Разговор шел о политическом положении, о гольфе, о детях, о последней модной пьесе, о картинах, о королевской академии, о погоде, о планах на лето. Ни разу не было паузы, и шум становился все громче. Миссис Стрикленд могла поздравить себя с успехом – обед удался. Ее муж выполнял свою роль с достоинством. Может быть, он говорил не очень много, и мне казалось к концу обеда, что у дам, сидевших по обе стороны от него, были утомленные лица. Они нашли его тяжеловатым. Раз или два глаза миссис Стрикленд, останавливались на нем с некоторой тревогой.

Наконец хозяйка встала и повела дам в соседнюю комнату. Стрикленд, закрыв за ней дверь, передвинулся на другой конец стола и сел между королевским советником и правительственным чиновником. Он налил всем нам по рюмке портвейна и предложил сигары. Королевский советник нашел портвейн превосходным, и Стрикленд сказал нам, где он его купил. Мы начали болтать о винах и табаке. Королевский советник рассказал нам о деле, которое он вел в суде, а полковник заговорил об игре в поло. Мне нечего было сказать, и я сидел молча, стараясь вежливо выказывать свой интерес к разговору, и, так как никто

не обращал на меня никакого внимания, я внимательно рассматривал Стрикленда. Он был гораздо крупнее, чем я думал. Я почему-то представлял его себе худощавым и незначительным. На самом деле он был широкий и тяжелый, с большими руками и ногами, и вечерний костюм сидел на нем неуклюже. Он немного напоминал кучера, наряженного для торжественного случая. Ему было около сорока лет, он был некрасив, хотя и не безобразен; черты его лица были довольно благообразны, но тоже казались несколько крупнее обычного; впечатление получалось странное. Он был гладко выбрит, и его большое лицо казалось до неловкости голым. Рыжеватые коротко подстриженные волосы и маленькие голубые или серые глаза. В общем – вид заурядного обывателя. Я больше не удивлялся, что миссис Стрикленд чувствовала некоторое смущение за него; едва ли он мог внушать доверие женщине, которая жаждала закрепить свое положение в литературном и художественном мире. Было ясно, что в нем не скрывалось никаких общественных талантов, но такого рода мужчины могут обойтись и без них; не замечалось у него и никаких эксцентричных вкусов, которые выделяли бы его из среднего уровня. Просто порядочный, честный, скучный, обыкновенный человек. Все обыкновенно ценят превосходные качества такого человека, но избегают общения с ним. Просто – нуль. Возможно, что он был достойным членом общества, прекрасным мужем и отцом и честным биржевым маклером. Но не было никакого смысла тратить на него время.

Глава VII

Сезон приближался к своему пыльному концу, и все, кого я знал, приготавливались к отъезду. Миссис Стрикленд увозила свою семью на побережье у Норфолька, где дети могли подышать морским воздухом, а муж поиграть в гольф. Мы попрощались и условились встретиться осенью. Но в мой последний день перед отъездом, выходя из какого-то магазина, я встретил миссис Стрикленд с дочерью и сыном. Она, как и я, делала последние закупки в Лондоне. Мы все устали. Было жарко, все утомились. Я предложил пойти в парк и съесть там мороженого.

Должно быть, миссис Стрикленд была рада случаю показать мне своих детей; она охотно приняла мое предложение. Дети были даже привлекательнее, чем на фотографиях, и она могла с полным правом гордиться ими. Я был достаточно молод, чтобы они не стеснялись меня, и они весело щебетали. Чрезвычайно милые, здоровые, воспитанные дети.

Было очень приятно в тени деревьев.

Когда через час они взгромоздились в кэб и отправились домой, я лениво побрел в свой клуб. Я почувствовал себя немного одиноким. Меня слегка кольнула зависть, когда я думал о приятной семейной жизни, в которую я мельком заглянул. По-видимому, они были очень привязаны друг к другу. У них были свои маленькие особые шутки, непонятные для постороннего, но очень забавлявшие их. Возможно, что Чарльз Стриклэнд был скучный человек, если его сравнивать с блестящим обществом. Но он достаточно был умен для своей среды, а в этом – гарантия не только умеренного успеха, но еще более личного счастья. Миссис Стриклэнд – очаровательная женщина, и она его любит. Я рисовал себе их приличную размеренную жизнь, без досадных шероховатостей, с подрастающими прелестными детьми, явно предназначенными продолжать нормальные традиции расы и занять в обществе видное положение. Они, муж и жена, нечувствительно состарятся и увидят, как их дети созреют, возмужают и вступят в свое время в брак: один – с хорошенькой девушкой, будущей матерью здоровых детей, другая – с красивым достойным юношей, вероятно, бравым военным. И, цветущие в своей почтенной старости, обожаемые внуками, после счастливой и небесполезной жизни, они спокойно сойдут в могилу.

Такова должна быть история бесчисленного количества супружеских пар; в такой жизни есть первобытное очарование. Она напоминает вам тихий ручеек, затененный прелестными деревьями, плавно извиляющийся среди зеленых пастбищ, пока он не впадает, наконец, в огромное море. Но море так спокойно, так молчаливо, так равнодушно, что вас вдруг тревожит смутное беспокойство: может быть, это особенность и даже недостаток моей натуры, проявлявшийся во мне даже и в те дни, но такое существование – обычный удел большинства – казалось мне печальным и незавидным. Я признавал его социальные достоинства, видел в нем упорядоченное счастье, но лихорадка в моей крови требовала жизни более бурной. Наслаждения спокойной мирной жизнью внушали мне неясную тревогу. В моем сердце таилось желание прожить более опасную жизнь. Я был готов к скитаниям среди острых скал и предательских отмелей, лишь бы впереди были перемены и острое ожидание непредвиденного.

Глава VIII

Перечитывая написанные мною строки о Стриклэндах, я сознаю, что их образы должны казаться читателю смутными. Я не сумел придать им ни одной из тех характерных черт, которые заставляют описанных в книгах людей жить реальной, своей собственной жизнью. И, желая проверить, моя ли в этом вина, я терзаю свой мозг, стараясь припомнить особенности, которые могли бы придать им жизненность. Я чувствую, что если б я мог указать какой-либо оборот их речи или странную привычку, мне удалось бы оживить их образы. В моем изображении они похожи на фигуры старого гобелена, которые не выделяются из общего фона и на расстоянии теряют свои очертания, так что не различаешь почти ничего, помимо приятного цветового пятна. Могу сказать в свое оправдание лишь то, что они на меня производили именно такое впечатление. Они были окружены той неясной мглой, в которую погружаются для вас люди, живущие как часть социального организма: Подобно клеткам тела они важны и необходимы, но до тех пор, пока остаются здоровыми и погруженными в большое значительное целое. Стриклэнды были типичной семьей среднего класса. Приятная гостеприимная дама с безвредной слабостью к литературным знаменитостям второго ранга; довольно скучный мужчина, исполняющий свой долг на той ступеньке жизни, на которую поместила его снисходительная судьба; двое милостивых здоровых детей. Нельзя представить себе ничего более обыкновенного. Не знаю, что в этой семье могло бы возбудить внимание наблюдателя.

Когда я думаю обо всем, что случилось после, я спрашиваю себя: не был ли я тупоумен, если не заметил в Чарльзе Стриклэнде ничего, что выделило бы его из ряда серых людей. За годы, протекшие с тех пор, я как будто накопил опыт и хорошо знаю людей, и все же мне кажется, что если бы я обладал этим опытом и тогда, при первой встрече со Стриклэндами, едва ли я судил бы о них иначе.

Однако если б я знал в то далекое время, как знаю теперь, что человек полностью непостижим, – я по крайней мере не был бы так удивлен той новостью, которую я услышал ранней осенью, возвратившись в Лондон.

Не прошло и суток после моего возвращения, как я встретил на Джермен-стрит Розу Уотерфорд.

– У вас очень веселый и задорный вид, сказал я. – Что случилось?

Она улыбнулась. Ее глаза заблестели знакомым мне злорадством. Это значило, что она услышала нечто скандальное об одном из своих друзей и инстинкт

писательницы заговорил в ней.

- Вы встречали Чарльза Стрикленда, не правда ли?

Не только лицо, все ее тело казалось напряженным от волнения. Я кивнул и подумал: не прогорел ли бедняга на каких-нибудь финансовых операциях на бирже или не попал ли под омнибус?

- Разве это не ужасно? - продолжала она. - Он сбежал от жены.

Роза Уотерфорд понимала, что она не может обработать эту тему должным образом, стоя на тротуаре на Джерман-стрит; поэтому, как артистка, бросила мне в лицо голый факт, объявив, что не знает подробностей. Я не хотел обижать ее предположением, что такое пустяжное обстоятельство мешало ей поделиться деталями события, но она заупрямилась.

- Говорю вам, что я ничего не знаю, - сказала она в ответ на мои взволнованные вопросы и, весело пожав плечами, прибавила: - Полагаю, что одна из юных девиц, подававшая чай в каком-нибудь кафе в Сити, оставила теперь свою службу.

Она улыбнулась мне и, заявив, что ей надо спешить к дантисту, удалилась легкой походкой. Я был больше заинтересован, чем огорчен. В те дни мое знание жизни было очень не велико, и меня удивило, что с людьми, которых я знал лично, произошло одно из тех событий, о которых я читал в книгах. Признаюсь, что с тех пор опыт приучил меня к событиям такого рода среди моих знакомых. Все же я был немного ошеломлен. Стрикленду было верных сорок лет, и мне казалось отвратительным, что человек в его возрасте позволил себе увлечься. С надменностью зеленого юноши я считал, что тридцать пять лет - крайний возраст, когда человек может влюбиться, не ставя себя в глупое положение. Кроме того, неожиданное известие несколько расстраивало мои личные планы; из деревни я написал миссис Стрикленд о своем скором приезде и прибавил, что я хотел бы зайти к ней в такой-то день на чашку чая, это не будет противоречить ее планам. Это был как раз указанный мною день и она ничего не написала мне. Хочет она меня видеть или не хочет? Весьма вероятно, что при таком волнении письмецо моё ускользнуло из ее памяти. Может быть, благоразумнее не идти? Но, с другой стороны, она могла не желать огласки, и я проявил бы грубую не деликатность, показав, что странная весть уже дошла до

меня. Я разрывался между страхом оскорбить тонкие чувства женщины и страхом явиться некстати. Я понимал, что она должна была страдать, а мне не хотелось видеть горя, которому я не мог помочь. Но в сердце моем гнездились желание, которого я немного стыдился: посмотреть, как она приняла происшедшее. Я не знал, на что решиться.

В конце концов я решил пойти, как будто ничего не случилось, и спросить через горничную, могу ли я видеть миссис Стриклэнд. Это даст ей возможность не принять меня. Я был раздавлен смущением, когда говорил горничной приготовленную фразу, и, пока я ждал ответа в темном коридоре, я должен был собрать все мое самообладание, чтобы не убежать. Горничная вернулась. Ее манеры сказали моему возбужденному воображению, что она прекрасно знает о домашнем несчастье Стриклэндов.

– Пожалуйста сюда, сэр, – сказала она.

Я последовал за ней в гостиную. Шторы были немного спущены, чтобы затемнить комнату, и миссис Стриклэнд сидела спиной к окну. Ее зять, полковник Мак-Эндрью, стоял, греясь у камина, в котором не было огня. Мое вторжение казалось неловким. Я представил себе, что мой приход захватил их врасплох и что миссис Стриклэнд приняла меня только потому, что забыла ответить на мое письмо. Полковник, как мне казалось, был возмущен моим неуместным появлением.

– Я не совсем уверен, ожидали ли вы меня, – сказал я, стараясь быть непринужденным.

– Разумеется, я вас ждала. Анни через минуту подаст чай.

Даже в полутемной комнате я не мог не заметить, что лицо миссис Стриклэнд опухло от слез. Цвет кожи, бывший и раньше болезненным, принял землистый оттенок.

– Вы помните моего зятя? Вы встретились у меня на обеде как раз перед каникулами.

Мы обменялись рукопожатием. Я так сконфузился, что ничего не мог сказать, но миссис Стриклэнд, пришла мне на помощь. Она спросила меня, как я провел

лето, и с этой поддержкой я завязал кое-как разговор, пока горничная не принесла чая. Полковник попросил себе содовой воды и виски.

- Вам тоже, Элен, не лучше ли выпить виски, - сказал он.

- Нет, я предпочитаю чай.

Это был первый намек на то, что случилось нечто неблагоприятное.

Я не подал вида, что понял, и старался изо всех сил вовлечь в разговор миссис Стриклэнд. Полковник продолжал стоять у камина, не принимая участия в нашей беседе. Я соображал, когда прилично будет уйти, и ломал себе голову, чего ради миссис Стриклэнд позволила мне явиться к ней. В комнате не было цветов, и различные безделушки, убранные на лето, еще не были расставлены. Чувствовались какая-то печаль и какая-то принужденность в этой гостиной, обычно такой приветливой и уютной. Было странное ощущение, будто за стеной лежал покойник. Я кончил чай.

- Не хотите ли папиросу? - предложила миссис Стриклэнд.

Она поискала глазами ящик с папиросами, но его не было видно.

- Боюсь, что папирос нет.

Внезапно она разразилась рыданиями и выбежала из комнаты.

Я был напуган. Очевидно, отсутствие папирос, которые обычно приносил муж, снова напомнило ей о нем, и острое ощущение, что даже это маленькое удобство, к которому она привыкла, исчезло, - вызвало внезапный припадок тоски. Она осознала вдруг, что старая жизнь кончилась. Невозможно было продолжать наше светское притворство.

- Пожалуй, мне лучше уйти, - сказал я полковнику, вставая.

- Вы, вероятно, слышали, что этот негодяй бросил ее, - воскликнул он с негодованием. Я помялся нерешительно.

– Вы знаете привычку людей сплетничать, – ответил я. – Мне говорили неопределенно, что в семье что-то неблагополучно.

– Удрал. Бежал в Париж с какой-то девчонкой. Оставил Эми без единого пенни.

– Все это ужасно печально, – сказал я, не зная, что еще прибавить.

Полковник выпил залпом виски. Он был высок, худ, бледно-голубые глаза с повисшими усами и седыми волосами. У него были бледно-голубые глаза и дряблый рот. Вероятно, ему было за пятьдесят. Я помнил, по моей первой встрече с ним, его глуповатое лицо, помнил, как он хвастался тем, что десять лет назад, когда он служил в армии, он три раза в неделю играл в поло.

– Мне не хотелось бы затруднять миссис Стрикленд своим присутствием, – сказал я. – Вы не откажетесь передать ей мои сожаления. Если я смогу что-нибудь сделать для нее, я буду очень рад помочь.

Полковник не обратил никакого внимания на мои слова.

– Не знаю, что с ней будет, – сказал он. – Двое детей... семнадцать лет...

– Что семнадцать лет?

– Женаты, – фыркнул он. – Я никогда не любил его. Конечно, он был мой зять, и я старался примириться с этим. Вы считаете его джентльменом? Ей не следовало выходить за него замуж.

– И это совершенно непоправимо?

– Одно остается – развестись с ним. Я ей так и говорил, когда вы вошли. «Подавайте прошение о разводе, дорогая Эми, – сказал я. – Вы должны это сделать ради себя самой и ради детей». И пусть он не попадается мне на глаза. Я изобью его до последнего дыхания.

Я подумал невольно, что полковнику Мак-Эндрью, пожалуй, трудненько будет выполнить свою угрозу: Стрикленд произвел на меня впечатление очень сильного человека, но я ничего не сказал. Прискорбно видеть, когда

оскорбленная нравственность не обладает силой немедленно наказать виновного. Я обдумывал новую попытку уйти, когда миссис Стрикленд вернулась. Она вытерла слезы и напудрила нос.

– Простите, что я не сдержалась, – сказала она. – Я рада, что вы не ушли.

Она села.

Я решительно не знал, что сказать. Мне казалось неловким заговорить о делах, меня не касавшихся. В то время я не знал еще присущей женщинам слабости обсуждать свои личные дела со всеми, кто пожелает их слушать. Миссис Стрикленд, видимо, сделала над собой усилие.

– Об этом уже говорят? – спросила она.

Предположение, что я знаю о ее несчастье, снова смутило меня.

– Я только что приехал и видел одну Розу Уотерфорд.

Миссис Стрикленд стиснула руки.

– Скажите мне, что она говорила.

Я колебался, но миссис Стрикленд настаивала.

– Я хочу знать.

– Вы знаете, как люди болтливы. Вы знаете Розу Уотерфорд и знаете, что ей нельзя особенно верить. Она сказала, что ваш муж оставил вас.

– Это все?

Я не мог повторить прощальный намек. Розы Уотерфорд на девицу, на кафе. Я солгал.

– Она ничего не говорила о том, что он уехал... не один?

- Нет.

- Это все, что я хотела знать.

Я немного растерялся, но все же сообразил, что теперь мне можно уйти. Пожимая руку миссис Стриклэнд, я сказал, что буду рад, если смогу быть ей чем-нибудь полезен. Она слабо улыбнулась.

- Благодарю вас. Вряд ли кто-либо может помочь мне.

Слишком застенчивый, чтобы выразить ей свое сочувствие, я повернулся к полковнику. Он не подал мне руки, сказав:

- Я тоже иду. Если вы идете к Виктория-стрит, пойдите вместе.

- Хорошо, - ответил я. - Пойдемте.

Глава IX

- Ужасное положение, сказал полковник, когда мы вышли на улицу.

Я понял, что он вышел со мной, чтобы еще раз поговорить о том, о чем уже говорил со свояченицей в течение нескольких часов.

- Понимаете, мы не знаем до сих пор, кто эта женщина, с которой он уехал, - прибавил он, - мы знаем только, что негодяй в Париже.

- Я думал, что они жили счастливо.

- Они жили счастливо. Только что перед вашим приходом Эми сказала, что в течение всей их семейной жизни не произошло ни одной ссоры. Вы знаете Эми. Вряд ли есть другая такая женщина в мире.

Эти откровенности ободряли меня. Я счел возможным задать несколько вопросов.

- Вы хотите сказать, что она ничего не подозревала?

- Ничего. Он провел с ней и детьми август в Норфолке. Был такой же, как всегда. Мы с женой приезжали к ним на два-три дня. Я играл с ним в гольф. Он вернулся в город в сентябре, чтобы сменить своего компаньона, уезжавшего в отпуск. Эми осталась в Норфолке, потому что они взяли дачу на полтора месяца. Затем она написала ему, в какой день возвращается в Лондон. Ответил он из Парижа. Он написал, что решил больше не жить с семьей.

- Какие же объяснения он привел?

- Дорогой мой, он не привел никаких объяснений. Я читал письмо. Не более десяти строк. Странно в высшей степени.

Мы переходили через улицу, и гул движения прервал нашу беседу. То, что рассказал мне полковник, казалось совершенно невероятным, и я подозревал, что миссис Стриклэнд скрыла от него по каким-то своим соображениям некоторые факты. Было ясно, что муж после семнадцати лет счастливой совместной жизни не может оставить свою жену без каких-нибудь предварительных событий, которые должны были бы навести ее на подозрения, что в ее отношениях с мужем не все благополучно. Полковник точно угадал мою мысль.

- Разумеется, есть только одно объяснение: сбежал с женщиной. Но он не написал об этом. Очевидно, предпочел, чтобы Эми сама догадалась. Хороший тип!

- Как же поступит миссис Стриклэнд?

- Ну, сначала надо добыть доказательства. Я поеду в Париж.

- А как его дела в конторе?

– Тут он оказался хитер: он постепенно устраивал свои делишки за последний год.

– И не сказал своему компаньону об отъезде?

– Ни слова.

У полковника Мак-Эндрью было слабое представление о коммерческих операциях, а у меня никакого, – поэтому я совершенно не мог понять, в каком положении Стрикленд оставил свои дела. Я уяснил только, что покинутый компаньон был очень сердит и грозил судом. Кажется, он терял на этом 400 или 500 фунтов стерлингов.

– Хорошо еще, что мебель в квартире записана на имя Эми. Хоть что-нибудь на первое время. Вы упоминали, что Стрикленд не оставил ей ничего.

– Ну, да, конечно. Она случайно сберегла двести или триста фунтов стерлингов и мебель.

– Как же она будет жить?

– Бог знает.

История становилась все более запутанной, и полковник с его ругательствами и негодованием больше сбивал меня с толку, чем выяснял дело. Я был рад, когда он, взглянув на часы на магазине «Армии и Флота», вспомнил, что ему пора идти в клуб играть в карты. Распростившись со мной, он пошел через Сент-Джеймский парк.

Глава ?

Два дня спустя я получил записку от миссис Стрикленд; она приглашала меня зайти к ней вечером после обеда. Я застал ее одну. Черное платье, простое и строгое, намекало на понесенную потерю, и я в своей невинности был удивлен, что, несмотря на искреннее волнение, она была способна одеться сообразно той

роли, которую должна была играть по требованиям приличия.

- Вы сказали, что если я попрошу вас что-нибудь сделать для меня, вы охотно исполните, - обратилась она ко мне.

- Да, совершенно верно.

- Не съездите ли вы в Париж и не поговорите ли с Чарли?

- Я?!

Я был поражен. Я соображал, что видел Стрикленда всего один раз. Я не понимал, чего она хотела от меня.

- Фред хочет ехать, - сказала она (Фред - это полковник Мак-Эндрью). Но я думаю, что его нельзя пускать. Он только ухудшит положение. Кроме вас мне некого попросить.

Ее голос немного задрожал, и я почувствовал, как груб я в моей нерешительности.

- Но я не сказал с вашим мужем и десяти слов. Он, наверное, пошлет меня к черту.

- Это вас не очень огорчит, - сказала Миссис Стрикленд, улыбаясь.

- Скажите точнее, что же я должен сделать?

Она не ответила прямо на вопрос.

- Я думаю, что это даже удобнее, если он вас не знает. Видите ли, он никогда не любил Фреда и считал его дураком; он не понимает военных. Фред, конечно, вспыхнет, и в результате произойдет ссора, будет хуже, а не лучше. Если вы скажете ему, что приехали от моего имени, он не откажется вас выслушать.

– Но я знаю вас так недавно, – ответил я. – Не представляю себе, как может кто-нибудь помочь в таком деле, не зная всех подробностей. Я не хочу, разумеется, спрашивать о том, что меня не касается. Но почему бы не поехать вам самой?

– Вы забываете, что он не один.

Я прикусил язык. Мне представилось уже, как я приду к Стрикленду и пошлю ему свою карточку. Я видел его в воображении, как он войдет в комнату, держа карточку между указательным и большим пальцем.

– Чему я обязан такой честью? – спросит он.

– Я приехал поговорить с вами о вашей жене.

– Вот как? Когда вы будете немного постарше, вы, вероятно, узнаете, что полезнее всего заниматься своими делами. Если вы будете добры слегка повернуть голову налево, вы увидите дверь. Желаю вам всего хорошего.

Я предвидел, как трудно мне будет выйти из комнаты с достоинством, и я весьма сожалел, зачем я вернулся в Лондон раньше, чем миссис Стрикленд не покончила со всеми своими затруднениями. Я украдкой взглянул на нее. Она сидела погруженная в задумчивость. Затем посмотрела на меня, глубоко вздохнула и улыбнулась.

– Все это вышло так неожиданно, – сказала она. Мы были женаты семнадцать лет.

Я никогда не воображала, что Чарли может кому-нибудь вскружить голову. Мы жили очень счастливо. Конечно, у меня было много интересов, которых он не разделял.

– Вы узнали, кто... – я не мог подыскать выражения... кто эта особа, с которой он уехал?

– Нет. И, кажется, никто не знает. Очень странно. Обыкновенно, когда муж влюбляется, его обязательно встречают знакомые вместе с его пассией за завтраком в ресторане или где-нибудь в другом месте, и друзья спешат

сообщить жене. Меня никто не предупреждал. Никто ни о чем. Его письмо было как удар грома. Я думала, что он вполне счастлив.

Она заплакала, бедняжка, и мне было очень жаль ее. Но она быстро овладела собой и успокоилась.

– Ну, довольно играть глупую роль, – сказала она, вытирая глаза. – Одно надо решить, что лучше всего сделать.

Она продолжала отрывочно вспоминать, перескакивая то к недавнему прошлому, то к их первой встрече и свадьбе. Теперь у меня стала складываться довольно связная картина их жизни, и мне казалось, что мои первые догадки подтверждались. Миссис Стриклэнд была дочерью чиновника Индии, который по выходе в отставку поселился в провинции, но у него было в обычае каждый год в августе со всей семьей выезжать в Истборн для перемены воздуха. И здесь двадцатилетняя девушка встретила в первый раз Чарльза Стриклэнда. Ему было двадцать три года. Они играли в теннис, гуляли по пляжу, слушали песенки бродячих негров – музыкантов, и она решила выйти за него замуж за неделю до того, как он сделал ей предложение. Они поселились в Лондоне, сначала в Хамстед, а после, когда Стриклэнд обосновался прочнее, в самом городе. У них родилось двое детей.

– Он, казалось, очень любил их. Если даже я надоела ему, удивительно, как он мог забыть о них. Все это невероятно. До сих пор с трудом верю, что это правда.

В конце концов она показала мне его письмо. Мне с самого начала хотелось прочесть его, но я не смел спросить.

Моя дорогая Эми!

Надеюсь, что ты найдешь квартиру в полном порядке. Я передал прислуге твои приказания, и, когда ты с детьми приедешь, обед будет готов для вас. Я не приеду встречать вас. Я решил жить отдельно и сегодня утром уезжаю в Париж. Пошлю это письмо оттуда. Я не вернусь к вам. Решение мое окончательно.

Всегда твой

Чарльз Стрикленд

– Ни одного слова объяснения или сожаления. Вы не находите, что это бесчеловечно?

– Очень странное письмо, – ответил я. – Есть только одно объяснение: очевидно, он сейчас сам не свой. Я не знаю, кто эта женщина, под влияние которой он попал, но она сделала его другим человеком. По-видимому, это тянется уже давно.

– Почему вы так думаете?

– Фред узнал. Муж ходил по вечерам три или четыре раза в неделю в клуб играть в бридж. Так он говорил мне. Фред знаком с одним из членов этого клуба. При встрече с ним он упомянул, что Чарльз был страстный игрок в бридж. Тот удивился и сказал, что ни разу не видел Чарльза в игорном зале. Теперь совершенно ясно, что все то время, когда я думала, что он сидит в своем клубе, он проводил с ней.

Я помолчал с минуту и вспомнил о детях.

– Вам, должно быть, трудно было объяснить Роберту? – сказал я.

– О, я не говорила ни слова ни ему, ни дочери. На другой же день, как мы приехали в Лондон, им нужно было отправиться в школу. У меня хватило присутствия духа сказать им, что отец уехал по делу.

Не легко ей было, вероятно, сохранять веселый и беспечный вид с такой внезапной тайной на сердце и укладывать с обычным вниманием вещи для детей, стараясь не забыть ничего необходимого. Голос ее вновь задрожал.

– И что будет с ними, бедняжками? Как мы будем жить?

Она старалась овладеть собою и судорожно ломала руки. Было мучительно смотреть на нее.

– Я, конечно, съезжу в Париж, – сказал я, – если вы думаете, что я могу быть полезен. Но вы скажите мне точнее, чего вы хотите?

– Я хочу, чтобы он вернулся.

– От полковника Мак-Эндрью я узнал, что вы хотите развестись.

– Никогда я не дам ему развода, – ответила она с неожиданной запальчивостью. – Скажите ему это от меня. Он никогда не сможет жениться на этой женщине. Я так же упряма, как и он. Развода ни в каком случае не будет. Я должна подумать о детях.

Видимо, она прибавила последнюю фразу, чтобы пояснить мне свое отношение к делу, но я подумал, что в ней говорила скорее естественная ревность жены, чем материнская забота.

– Вы все еще его любите?

– Не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, все будет забыто. Ведь мы прожили вместе семнадцать лет. Я женщина без предрассудков. Я же не тревожилась о том, что он делает, пока не знала него. Он должен понимать, что его увлечение скоро пройдет. Если он вернется теперь же, все можно сгладить, и никто ничего не будет знать.

Меня несколько охладило, что миссис Стриклэнд беспокоилась прежде всего о сплетнях; я не знал тогда, какую важную роль играет в жизни женщины мнение других. Это бросает тень неискренности на их самые глубокие чувства.

Теперь уже было известно где остановился Стриклэнд. Его компаньон в резком письме, посланном на его банк, упрекал Стриклэнда за то, что он скрывает свое местопребывание. Стриклэнд ответил циничным и юмористическим письмом, точно указав, где его можно найти. По-видимому, он жил в каком-то отеле.

– Никогда не слыхала о таком отеле, – сказала миссис Стриклэнд. – Но Фред хорошо знает его. Он говорит, что жить там стоит очень дорого.

Она густо покраснела. Я понял, что она представляла себе мужа, живущего в роскошных комнатах, обедающего то в одном, то в другом модном ресторане, проводящего дни на скачках, а вечера в театрах.

– Недопустимо в его возрасте, – говорила она. Ему ведь сорок лет. Я могла бы понять это у юноши, но считаю ужасным для человека в его годы, – человека, у которого почти взрослые дети. Да и здоровье его не выдержит.

Гнев боролся в ней с отчаянием.

– Скажите ему, что его семья плачет о нем. Все здесь осталось без изменения и все стало иным. Я не могу жить без него. Я скорее покончу с собой. Напомните ему о прошлом, обо всем, что мы пережили вместе. Что я скажу детям, когда они спросят о нем? Его комната в том же виде, в каком он оставил ее. Она ждет его. Мы все ждем его.

Затем я получил от нее подробные указания, что я должен сказать ему. Она заранее обдумала даже ответы на возможные с его стороны возражения.

– Вы сделаете для меня все, что сможете, правда? – умоляюще сказала она. – Расскажите ему, в каком я состоянии.

Она, очевидно, желала, чтобы я возбудил его жалость всеми способами, какие были в моих силах. Слезы ручьем лились из ее глаз. Я был чрезвычайно растроган, негодовал на холодную жестокость Стриклэнда и обещал сделать со своей стороны: все, чтобы привезти его назад. Я согласился выехать в Париж на другой же день и прожить там до тех пор, пока не добьюсь чего-нибудь. Затем я распрощался с ней, так как было уже поздно и мы оба изнемогали от пережитых волнений.

Глава XI

Во время путешествия я размышлял о взятом на себя поручении со страхом и сомнениями. Теперь, когда я не видел страдающей миссис Стриклэнд, я мог спокойнее обдумать положение и был смущен противоречиями в ее поведении.

Она была очень несчастна, но, чтобы возбудить мое сочувствие, она искусно показала свое горе. Очевидно, она заранее приготовилась заплакать, так как запаслась достаточным количеством носовых платков. Я восхищался ее предусмотрительностью, но теперь, ретроспективно, слезы меньше трогали меня. Я не мог решить, почему она желала возвращения мужа: потому ли, что любила его, или потому, что боялась злых языков. Меня тревожило подозрение, что тоска отвергнутой любви смешивалась в ее разбитом сердце с досадой, низменной по моему юношескому мнению, – досадой уязвленного тщеславия. Я тогда еще не научился понимать противоречий человеческой природы. Я не знал, сколько позерства может быть в искреннем человеке, сколько низости в благородном и сколько доброты в отверженном.

Все же моя поездка походила на приключение, и настроение у меня при приближении к Парижу постепенно поднималось. Я видел себя в центре драмы, и мне нравилась роль верного друга, приводящего назад блудного мужа к его всепрощающей жене. Я решил повидаться со Стриклэндом на другой день вечером, так как понимал, что время для визита нужно выбрать поделикатнее. Обращение к чувствам едва ли может быть успешным до завтрака. В то время я постоянно думал о любви, но не мог себе представить супружеского счастья иначе, как после чая.

Я навел справки в моем отеле о гостинице, где жил Чарльз Стриклэнд. Она называлась «Отель де Бельж». К моему удивлению наш швейцар никогда не слышал о таком отеле. По словам миссис Стриклэнд, это был большой роскошный отель где-то около улицы Риволи. Мы посмотрели указатель. Единственный отель под таким именем находился на улице де Муан, в квартале не только не аристократическом, но даже не совсем приличном. Я покачал головой.

– Наверное, не то, – сказал я.

Швейцар пожал плечами. Другого «Отель де Бельж» в Париже не было. Мне пришло в голову, что Стриклэнд скрыл свой настоящий адрес. Может быть, он подшутил над своим компаньоном? Не знаю почему, но мне показалось, что это соответствовало бы наклонностям Стриклэнда к юмору – заманить раздраженного биржевого маклера в Париж для дурацких поисков неприличного дома на сомнительной улице. Но все же я решил, что самое лучшее – пойти и посмотреть. На следующий день, около 6 часов вечера, я нанял извозчика на улицу де Муан. На углу я отпустил его и пошел пешком, чтобы взглянуть на отель снаружи, прежде чем войти. По обеим сторонам улицы

тянулись маленькие лавчонки, обслуживающие бедноту; на левой стороне находился «Отель де Бельж». Отель, где я остановился, был достаточно скромен, но он был великолепен по сравнению с этим. Высокое обветшалое здание, очевидно, много лет не крашеное, было так забрызгано грязью, что облезшие дома рядом с ним казались чистыми и нарядными. Грязные окна отеля были наглухо закрыты. Нет, не здесь жил Чарльз Стрикленд в преступной роскоши с неизвестной очаровательницей, ради которой он забыл честь и долг. Я был раздражен, чувствуя, что попал в глупое положение, и готов был уйти без всяких справок. Однако я вошел в отель только за тем, чтобы сказать миссис Стрикленд, что я исполнил поручение до конца.

Вход в отель был рядом с лавчонкой. Дверь была раскрыта настежь, и на стене виднелась надпись: «Кантора во втором этаже». Я поднялся по узкой лестнице и на первой площадке заметил что-то вроде стеклянной будки, где находилась канторка и два стула. Снаружи стояла скамья, на которой, вероятно, ночной коридорный проводил беспокойные ночи. Нигде ни души, но под электрическим звонком было написано: «Gar?on». Я позвонил, и скоро появился лакей: молодой малый с бегающими глазами и мрачным лицом. Он был в туфлях и в жилете. Не знаю почему, я задал вопрос самым небрежным тоном:

– Мистер Стрикленд случайно не живет здесь?

– Номер тридцать второй. Шестой этаж.

Я был так удивлен, что на минуту замолчал.

– Он дома?

Лакей взглянул на доску в канторе.

– Ключа не оставлял. Поднимитесь, посмотрите.

Я счел возможным задать еще один вопрос.

– А мадам дома?

– Мосье один.

Лакей посмотрел на меня подозрительно, когда я стал взбираться наверх. Было темно и душно. Пахло плесенью и чем-то кислым. На третьей площадке женщина в халате с растрепанными волосами открыла дверь и молча смотрела на меня, пока я проходил мимо нее. Наконец я добрался до шестого этажа и постучал в дверь № 32. Послышались шаги, и дверь полуоткрылась. Передо мной стоял Чарльз Стрикленд. Он не произнес ни слова и, видимо, не узнал меня. Я назвал себя и старался держаться развязно.

- Вы не помните меня? Я имел удовольствие обедать у вас в июле.

- Войдите, - весело сказал он. - Весьма рад все видеть. Берите стул.

Я вошел. Очень маленькая комната была заставлена мебелью в стиле, который известен у французов под именем «Луи-Филипп». Большая деревянная кровать, покрытая стеганым красным пуховым одеялом, большой гардероб, круглый стол, очень маленький умывальник и два мягких стула, обитых красным репсом. Все было грязно и ветхо. Не было никаких следов той грешной роскоши, которую так уверенно описал полковник Мак-Эндрью. Стрикленд сбросил на пол платье, лежавшее на одном из стульев, и я сел.

- Чем могу служить? - спросил он.

В этой маленькой комнатке он показался еще больше, чем при первом свидании. На нем был старый пиджак. Он не брился уже несколько дней. Когда я видел его в первый раз, он был одет довольно щеголевато, но весь был каким-то неловким и натянутым. Теперь же, неопрятный, непричесанный, он, видимо, чувствовал себя превосходно. Меня охватило сомнение, как он отнесется к приготовленной мною фразе.

- Я приехал поговорить с вами от имени вашей жены.

- Я только что хотел пойти выпить перед обедом. Пойдемте-ка вместе. Вы любите абсент?

- Могу выпить.

- Ну, значит, идем.

Он надел кепку, очень нуждавшуюся в щетке.

– Мы можем вместе пообедать. Ведь вы должны мне один обед. Верно?

– Конечно. Вы один?

Я похвалил себя, что очень ловко и естественно вставил этот важный вопрос.

– О, да. Последние три дня я не говорил ни с одной живой душой. Мой французский язык не очень блестящ.

Я с удивлением спрашивал себя, идя впереди него по лестнице, что же случилось с миленькой леди, служившей раньше в кафе? Поссорились ли они, или его любовь уже испарилась? Вряд ли это могло случиться, если он в течение года готовился к своему отчаянному поступку. Мы дошли до Авеню де Клиши и уселись за столиком на тротуаре у одного большого кафе.

Глава XII

Авеню де Клиши была переполнена в этот час, и пылкое воображение могло в этих прохожих увидеть героев многих подозрительных романов. Здесь были конторщики и продавцы из магазинов; старики, которые, казалось, только что сошли со страниц Оноре Бальзака, мужчины и женщины, занимавшиеся профессиями, живущими за счет слабостей человечества. Шумная уличная жизнь бедных кварталов Парижа возбуждает кровь и prepares человека к неожиданному.

– Вы хорошо знаете Париж? – спросил я.

– Нет. Мы приезжали сюда на наш медовый месяц. С тех пор я не был.

– Чего ради попали вы в этот отель?

– Мне его рекомендовали. Я искал подешевле.

Подали абсент, и с должной торжественностью мы капали воду на тающий сахар.

– Не, лучше ли сразу сказать вам, зачем я приехал? – произнес я не без некоторой неловкости.

Его глаза прищурились.

– Я ожидал, что кто-нибудь приедет рано или поздно. Эми засыпала меня письмами.

– Значит, вы хорошо знаете, что я должен сказать вам? – спросил я.

– Я не читал их.

Я закурил папиросу, чтобы дать себе минутку подумать. Я совершенно не знал теперь, как выполнить свою миссию. Красноречивые фразы, которые я приготовил, патетические и негодующие, казались совершенно неуместными на Авеню де Клиши. Вдруг он рассмеялся.

– Тяжкая задача для вас, а?

– О, я просто не знаю, – ответил я.

– Ну, смелее, выпаливайте сразу, а затем мы проведем веселый вечерок.

Я помолчал нерешительно.

– Вам не приходило в голову, что ваша жена страшно несчастна?

– Она переживет это.

Не могу описать того необычайного равнодушия, с которым он ответил мне. Это сбило меня с толку, но я постарался не показать этого. Я заговорил с ним тоном, какой пускал в ход мой дядя Генри, священник, когда он просил кого-либо из своих родных подписаться на благотворительное дело.

- Вы не рассердитесь, если я буду говорить с вами откровенно?

Он покачал головой, улыбаясь.

- Заслужила ли ваша жена то, что вы позволили себе сделать с ней?

- Нет.

- Есть у вас какие-нибудь обвинения против нее?

- Никаких.

- В таком случае разве не чудовищно бросить ее подобным образом после семнадцати лет совместной жизни, без всякой вины с ее стороны?

- Чудовищно.

Я посмотрел на него с удивлением. Его искреннее поддакивание вырывало у меня почву из-под ног. Мое положение становилось затруднительным, если не просто смешным. Я приготовился убеждать, умилять, поучать, увещевать, укорять, упрекать, если нужно – порицать, негодовать и быть язвительным. Но какого черта может сделать проповедник с грешником, если тот покорно признается в своем грехе? У меня не было наблюдений над другими, а моя личная практика сводилась всегда к упорному отрицанию всего, в чем меня обвиняли.

- Что же дальше? – спросил Стрикленд.

Я попробовал значительно поджать губы.

- Если вы признаете это, то больше нечего говорить.

- Думаю, что нечего.

Я чувствовал что выполняю возложенное на меня поручение не с очень большим искусством. Я стал раздражаться.

- Черт возьми, не оставляют же женщину без единого пенни.

- А почему нет?

- Чем она будет жить?

- Семнадцать лет я работал для нее. Почему бы ей не поработать самой для себя ради разнообразия?

- Она не может.

- Пусть попробует.

Конечно, на это я мог бы возразить многое. Я мог напомнить об экономическом положении женщины, об обязательствах, подразумеваемых и торжественно произнесенных публично, которые мужчина берет на себя, вступая в брак, и многое другое. Но я чувствовал, что важно только одно.

- Вы больше не интересуетесь ею?

- Ни капельки, - ответил он.

Обстоятельства складывались в высшей степени серьезно для обеих сторон, но в его ответах было столько веселого бесстыдства, что я кусал губы, стараясь не расхохотаться. Я твердил себе, что его поведение чудовищно, я принуждал себя возмущаться его безнравственностью.

- Черт побери, но ведь остаются ваши дети, о которых нужно подумать! Они вам не сделали ничего дурного. Они не просили вас производить их на свет. Если вы будете так смеяться над всем, то они окажутся на улице.

- Они многие годы прожили в довольстве и получили гораздо больше, чем большинство детей. Кроме того, кто-нибудь о них позаботится. В крайнем случае Мак-Эндрю заплатит за их ученье в школе.

- Но разве вы их не любите? Такие прекрасные дети! Неужели вы нисколько не беспокоитесь за их судьбу?

- Они мне нравились, когда были маленькие, теперь они выросли, и у меня нет никакой особенной привязанности к ним.

- Бесчеловечно!

- Вероятно.

- Вам, кажется, нисколько не стыдно?

- Ничуть.

Я попробовал другой подход.

- Всякий подумает, что вы совершенная свинья.

- Пусть их.

- Для вас не имеет значения, что люди будут ненавидеть и презирать вас?

- Нет.

Его короткий ответ прозвучал так презрительно, что мой вполне естественный вопрос показался нелепым. Я размышлял минуты две.

- Хотел бы я знать, может ли кто-либо жить безмятежно, сознавая, что все осуждают его. Уверены ли вы, что это не будет тревожить вас? В каждом из нас сидит свой судья и рано или поздно он выскажется. Предположим, что ваша жена умрет, разве вас не будет грызть раскаяние?

Он не отвечал, и я ждал некоторое время, надеясь, что он заговорит. В конце концов я сам прервал молчание:

- Что же вы на это скажете?

- Только то, что вы отчаянно глупы.

– Во всяком случае вас могут заставить давать на содержание жены и детей, – возразил я несколько уязвленный. Полагаю, закон сумеет защитить их.

– А закон может добыть кровь из камня? У меня нет денег. Я сумел скопить себе всего около ста фунтов.

Растерянность моя возрастала. Действительно, его отель указывал на стесненные обстоятельства.

– Что же вы будете делать, когда проживете все эти деньги?

– Заработаю кое-что.

Он был вполне спокоен, и в его глазах таилась насмешливая улыбка, делавшая все мои слова глупыми. Я замолчал, соображая, что еще сказать, но он заговорил первый.

– Почему бы Эми не выйти вторично замуж? Она сравнительно молода и довольно привлекательна. Я могу рекомендовать ее как отличную жену. Если она пожелает развестись, я не откажу дать ей нужные для этого основания.

Теперь была мол очередь улыбнуться. Он очень хитер; ясно, что именно к разводу он и стремился. У него была какая-то причина скрывать факт своего бегства с женщиной, и он принимал всякие предосторожности, чтобы ее местопребывание оставалось неизвестным. Я ответил решительно:

– Ваша жена сказала, что никогда и ни за что не согласится дать вам развод. Это ее твердое решение, выбросьте из головы эту надежду.

Он посмотрел на меня с непритворным удивлением. Улыбка исчезла с его лица, и он заговорил вполне серьезно

– Но, дорогой мой юноша, меня это нимало не тревожит. Мне решительно безразлично, тем или иным путем пойдет все это дальше.

Я засмеялся.

– О, перестаньте! Не думайте, что мы все так уж глупы. Нам известно, что вы уехали с женщиной.

Он вздрогнул, а затем вдруг разразился хохотом. Он хохотал так неудержимо, что сидевшие за другим столиком стали оглядываться, а некоторые тоже засмеялись.

– Я не вижу в этом ничего забавного, – сказал я.

– Бедная Эми! – пробормотал он сквозь слезы.

Затем на его лице появилась презрительная гримаса.

– Как узок кругозор мысли у женщин. Любовь! Всегда любовь! Они думают, что мужчина оставляет их только потому, что желает других. Вы считаете меня таким дураком, чтобы сделать то, что я сделал, ради женщины?

– Вы хотите сказать, что покинули вашу жену не ради другой женщины?

– Конечно, нет.

– Честное слово?

Не знаю, почему я задал такой вопрос. Это вырвалось у меня вполне простодушно.

– Честное слово.

– Но почему вы оставили ее?

– Почему? Я хочу писать картины.

Я долго смотрел на него. Я ничего не понимал.

«Он сошел с ума», решил я. Не нужно забывать, что я был тогда очень молод и считал его пожилым человеком. Я забыл обо всем, кроме моего изумления.

– Но ведь вам сорок лет!

– Поэтому-то я и думаю, что пора уже начать.

– Вы когда-нибудь занимались живописью?

– Я хотел быть художником в юности, но отец заставил меня поступить на службу, потому что, как он говорил, искусство не дает денег. Я начал писать год назад. По вечерам я ходил на курсы.

– А! Вот вы куда ходили, когда ваша жена думала, что вы играете в бридж в вашем клубе!

– Именно.

– Почему же вы не сказали ей?

– Предпочитал не посвящать ее в свои дела.

– И вы уже владеете кистью?

– Пока нет. Но скоро усвою технику. За этим я сюда и приехал. В Лондоне я не мог добиться того, чего желал. Может быть, сумею здесь.

– И вы думаете, что человек может добиться успеха, начав учиться в вашем возрасте? Большинство художников начинали в восемнадцать лет.

– Я теперь научусь быстрее, чем в восемнадцать лет.

– Почему вы решили, что у вас есть талант?

Он с минуту не отвечал. Глаза его следили за проходящей толпой, но вряд ли он видел ее. Ответ его не был ответом.

– Я уже начал писать.

- Не подвергаете ли вы себя страшному риску?

Он взглянул на меня. В его глазах было что-то странное, и мне стало неловко.

- Сколько вам лет? Двадцать три?

Вопрос показался мне неуместным. В моем возрасте было естественно искать риска и приключений. Но его юность прошла, он - биржевой маклер с почтенным общественным положением, с женой и двумя детьми. Путь жизни, естественный для меня, был нелеп для него. Я хотел быть вполне откровенным.

- Конечно, может случиться чудо, и вы сделаетесь великим художником, но вы должны признать, что миллион шансов против вас. Как будет ужасно очнуться от самообмана, и понять в конце концов, что вы искалечили свою жизнь..

- Я уже начал писать, - повторил он.

- Допустим, что вы сделаетесь художником не выше третьего сорта. Стоит ли для этого всем жертвовать? На всяком другом пути жизни не составляет беды, если вы не поражаете блеском, вы все-таки можете существовать вполне спокойно, если соответствуете общему уровню. Но художник - совсем другое дело.

- Глупая канитель, - сказал он.

- Не вижу, что тут глупого. Разумеется, если вы не считаете глупым говорить прямо и искренне.

- Я же сказал вам, что я уже начал писать. Я ничего не могу с собой сделать. Когда человек падает в воду, - не важно, хорошо ли он плавает или плохо. Он должен плыть, иначе он утонет.

Подлинная страсть зазвучала в его голосе, и я невольно был потрясен. Я заметил в нем борьбу каких - то жестоких сил: нечто мощное и неодолимое, что подчинило его своей власти, как бы против его собственной воли. Я ничего не понимал: казалось, что он действительно одержим демоном, который может его вдруг закружить и завертеть. И все же вид у него был довольно заурядный. Я

смотрел на него с любопытством, но это несколько его не смущало. Какой странной фигурой он должен был казаться здесь всем в своем потертом пиджаке и нечищенной кепке; его брюки висли мешками, руки не отличались чистотой; лицо с рыжей щетиной на небритом подбородке, с маленькими глубоко сидящими глазами и большим носом было грубо и неуклюже. У него был большой рот, толстые чувственные губы. Да, трудно было определить по внешнему виду, что это за человек.

– Итак, вы не вернётесь к жене? – сказал я наконец.

– Никогда.

– Она готова забыть все, что случилось, и начать жизнь снова. Она никогда не сделает вам ни единого упрека.

– Может отправляться хоть в ад.

– Вас не трогает, что люди будут считать вас первосортным негодяем? Что ваша жена и дети должны будут выпрашивать себе на хлеб?

– Нисколько.

Я помолчал, чтобы придать больше силы моей следующей фразе. Я сказал, насколько мог сдержанно:

– Вы самый неисправимый бездельник и эгоист.

– Теперь, когда вы облегчили свое сердце, пойдите обедать.

Глава XIII

Конечно, приличнее было бы отклонить его предложение. Может быть, я должен был выразить ему свое негодование, которое я действительно чувствовал, и полковник Мак-Эндрю, наверное, одобрил бы меня, если бы я мужественно

отказался сидеть за одним столом с таким человеком. Но страх не выдержать до конца твердой линии всегда мешал мне брать на себя роль нравственного судьи, а в данном случае уверенность, что все мои высокие чувства не окажут на Стрикленда никакого влияния, делала отказ особенно затруднительным. Только поэт или святой могут лить воду на асфальтовую мостовую, доверчиво предвкушая, что здесь расцветут лилии и вознаградят их за их труды.

Я заплатил за абсент, и мы отправились в дешёвый ресторан, переполненный и веселый, где с удовольствием пообедали. У меня был аппетит молодости, у него – окаменелой совести. После обеда мы пошли в таверну выпить кофе и ликеру.

Я высказал ему все, что должен был сказать по делу, из-за которого приехал в Париж. И хотя я чувствовал, что поступаю до некоторой степени изменнически по отношению к миссис Стрикленд, отказываясь продолжать переговоры, я не мог больше бороться с его равнодушием. Нужен женский темперамент, чтобы повторять одно и то же по три раза с неослабным усердием. Я утешал себя, что полезно узнать подробнее о настроении Стрикленда. Кроме того, я был очень заинтересован им. Но заставить говорить Стрикленда была нелегкая задача. Он, по-видимому, с трудом находил выражения, как будто слова не были тем посредником, через которого раскрывалась его мысль. Приходилось догадываться о его душевных движениях по избитым фразам, простонародным словечкам и незаконченным жестам. Однако, хотя он не сказал ничего значительного, в его личности было нечто, не позволявшее ему быть скучным. Может быть, его искренность? Он, по-видимому, мало интересовался Парижем, хотя видел его в сущности в первый раз (я не считаю его путешествия с женой). Он принимал все, что видел и что не могло не казаться ему странным, без всякого удивления. Я был в Париже чуть не сто раз, и всегда меня пронизывала дрожь возбуждения, когда я приезжал туда. Я ходил по парижским улицам с постоянным ощущением, что я на грани приключения. Стрикленд оставался невозмутимым. Оглядываясь назад, я думаю теперь, что он был слеп ко всему, кроме тревожных видений своей души.

В таверне произошел довольно нелепый случай: там было много девиц; некоторые из них сидели с мужчинами, другие отдельно, и я скоро заметил, что одна из них смотрит на нас. Поймав взгляд Стрикленда, она улыбнулась. Не думаю, чтобы он заметил ее. Через минуту она ушла, но сейчас же возвратилась и, проходя мимо нашего стола, очень вежливо попросила заказать для нее что-нибудь выпить. Она села, и я начал болтать с ней. Но было ясно, что ее интересуется Стрикленд. Я объяснил ей, что он знает не больше двух слов по-

французски. Она старалась разговаривать с ним отчасти знаками, отчасти на ломаном французском языке, который она почему-то считала более понятным для Стрикленда; кроме того она знала несколько английских фраз. Она заставляла меня переводить по-английски то, что она могла сказать только на своем языке, и нетерпеливо допытывалась, что ответил Стрикленд. Он держался добродушно, слегка забавляясь, но его равнодушие было очевидно.

- Вы одержали победу, посмеялся я.

- Мне это не льстит.

На его месте я был бы более смущен и менее покоен. У девицы были смеющиеся глаза и очаровательный рот. Она была молода. Я удивлялся, что привлекало ее в Стрикленде. Она не скрывала своих желаний, и я обязан был переводить ее откровенности.

- Она хочет, чтобы вы пошли домой вместе с ней.

- Ну, а я этого совсем не хочу.

Я перевел его ответ, смягчив его по возможности. Мне казалось нелюбезным отклонять такого рода предложение, и я объяснил его отказ тем, что у него нет денег.

- Но он мне нравится, - сказала она. Скажите ему, что деньги тут не при чем. Он нравится мне.

Когда я перевел это, Стрикленд нетерпеливо пожал плечами.

- Скажите ей, пусть убирается к чертям - проворчал он.

Его жест был очень понятен, и девица быстро подняла голову. Может быть, даже покраснела под румянами. Она встала.

- Monsieur n'est pas poli[8 - Мосье не любезен.], - сказала она.

Она немедленно вышла из таверны. Я был слегка раздосадован.

– Не было никакой надобности оскорблять ее, – сказал я. В конце концов это был скорее комплимент вам с ее стороны.

– Такие создания вызывают у меня тошноту, – грубо сказал он.

Я с любопытством посмотрел на него. Лицо его выражало искреннее отвращение и в то же время это было лицо грубо чувственного человека. Вероятно, девица и была привлечена чем-то звериным в нем.

– Женщин и в Лондоне достаточно, если захотеть, – сказал он. – Я не за этим приехал сюда.

Глава XIV

Возвращаясь в Англию, я много думал о Стриклэнде. Я пытался привести в порядок то, что должен был сказать его жене. Итог получался неудовлетворительный, и я не мог надеяться, что она будет довольна мной. Я сам тоже не был доволен собой. Стриклэнд смущал меня. Я не понимал его побуждений. Когда я спросил его, откуда у него впервые явилась мысль о живописи, он или не умел, или не хотел объяснить мне. Я ничего не мог добиться. Я старался убедить себя, что смутное чувство протеста постепенно возрастало в его медленном уме, но тогда выступал неоспоримый факт, что он никогда не выражал ни малейшего нетерпения против монотонности своей жизни. Если бы, охваченный невыносимой тоской, он решил стать художником только затем, чтобы отделаться от тяготивших его уз, это было бы понятно и вполне обыкновенно. Но я чувствовал, что обыкновенное к нему неприложимо. Наконец, в силу своих романтических склонностей, я остановился на одном объяснении, хотя и сам считал его немного натянутым: оно одно в некотором смысле удовлетворяло меня. Я спрашивал себя: не было ли в его думе глубоко заложенного инстинкта творчества, затемненного условиями жизни; этот инстинкт неумолимо рос, как разрастается рак в живой ткани организма, пока, наконец, он не подчинил его всецело себе и не принудил действовать. Кукушка кладет свои яйца в чужое гнездо, птенец вырастает, он выталкивает своих названных братьев и разбивает приютившее его гнездо. Но как странно, что творческий инстинкт овладел этим тупым биржевым маклером на его погибель,

может быть, и на горе всей его семьи! Однако не более странно, чем то стремление служить богу, которое охватывало иногда людей могущественных и богатых, преследуя их с непреклонной настойчивостью, пока, наконец, побежденные, они не оставляли счастливую жизнь среди людей и любовь женщин для сурового аскетизма пустынь. Обращение совершается в различных формах и ведет различными путями. У некоторых людей это происходит катастрофически, как разбивается камень на мелкие куски яростной силой потока; у других то же самое совершается постепенно, подобно медленному разрушению камня под неустанным падением капли воды. Стриклэнд обладал прямой фанатикой и лютостью апостола. Но моему практическому уму нужны были еще доказательства, что охватившая Стриклэнда страсть может быть оправдана ее творческой силой. Когда я спросил Стриклэнда, какого мнения были о его попытках в живописи его товарищи по работе на вечерних курсах в Лондоне, он ответил с усмешкой:

- Они думали, что я дурачусь.

- А здесь вы уже начали работать в какой-нибудь студии?

- Да. Сегодня утром учеников обходил губитель надежд, то есть маэстро. Посмотрел на мой набросок, поднял брови и отошел.

Стриклэнд фыркнул. Он не казался обескураженным. Мнение товарищей его не огорчало. И эта независимость от суждения других в особенности смущала меня. Когда люди говорят, будто им безразлично, как и что о них думают другие, - они большей частью обманывают себя. Обычно они подразумевают, что намерены действовать по своему вкусу, но так, чтобы никто не узнал о их чудачествах, или же что они готовы выступить против мнения большинства, потому что их поддерживает одобрение соседей. Не трудно быть нарушителем условностей в глазах всего света, когда это нарушение является условностью вашего кружка. Тогда вы получаете чрезмерную порцию самоуважения. Вы удовлетворены своим мужеством, не подвергаясь опасностям. Но стремление к похвалам, может быть, один из самых глубоких инстинктов цивилизованного человека. Никто не бежит с такой поспешностью под защиту приличия, как согрешившая женщина, когда она попадает под удары и стрелы оскорбленной благопристойности. Я не верю людям, якобы беспечным к тому рою шпилек, который всаживают в них ближние под видом своего мнения. Это - хвастовство с расчетом на чужое неведение. Это значит лишь, что такие люди не боятся осуждения своих грешков, которых, как они думают, никто не знает.

Но передо мной был человек, искренне не обращавший внимания на то, что о нем думали; условности не держали его в своей власти. Он напоминал собой борца, тело которого вымазано маслом; его не ухватишь; это давало ему свободу, которая была оскорблением. Помню, я ему сказал:

– Послушайте, если каждый будет вести себя так, как вы, то общество распадется.

– Глупости вы говорите. Никогда все не захотят вести себя так, как я. Громадное большинство вполне счастливо, исполнял свои обычные дела.

Я пробовал уязвить его.

– Вы, очевидно, не верите в изречение: поступай так, чтобы каждый твой поступок мог быть обращен в общее правило поведения.

– Никогда не слышал. Чепуха непроходимая.

– Но это сказал Кант.

– Все равно. Непроходимая чепуха.

Можно ли было взывать к совести такого человека?

С равным успехом вы могли бы искать отражения без зеркала. Совесть – сторож в каждом отдельном человеке, охраняющий правила, выработанные нашим буржуазным обществом; это полицейский в наших сердцах, посаженный туда, чтобы мы не посягали на законы мещанства; это – шпион, сидящий в центральной твердыне нашего «я». Человек так сильно желает одобрения своих ближних, так страшится их осуждения, что сам ввел к себе в сердце своего врага, и этот враг неусыпно следит за ним, всегда на страже интересов своего господина, всегда готовый раздавить в зародыше всякое желание индивида отделиться от буржуазного стада, и человек ставит благо этого стада выше своего личного. Это крепким звеном приковывает отдельную личность к целому. И человек, убедив себя, что есть интересы выше его собственных, подчиняется им, превращаясь в раба своего надзирателя. Он сажает его на почетное место. И, наконец, как царедворец пресмыкающийся перед королевской палкой,

бьющей его по плечам, он гордится чувствительностью своей совести. Он не находит тогда достаточно жестоких слов для осуждения человека, не признающего этой власти; он как член этого мещанского стада с достаточной легкостью убедился теперь, что против этой власти он бессилён. Когда я увидел, что Стрикленд действительно равнодушен к порицанию обществом его поведения, я мог только попятиться от него в ужасе, как от чудовища, в котором почти нет ничего человеческого. При прощании он мне сказал:

– Скажите Эми, что нехорошо гоняться за мной. Во всяком случае я переменю отель, чтобы она не могла найти меня.

– Мое личное впечатление, что она счастливо отделалась от вас, – сказал я.

– Дорогой мой, моя единственная надежда, что вы ей это растолкуете. Но женщины очень бестолковы.

Глава XV

По приезду в Лондон я нашел у себя письмо, настоятельно приглашающее меня прийти в тот же вечер к миссис Стрикленд. Я застал ее вместе с полковником Мак-Эндрью и его женой. Сестра миссис Стрикленд была старше ее, похожа на нее, но более поблекшая. У нее был такой внушительный вид, словно она носила всю Британскую империю в своем кармане. Жены старших офицерских чинов частенько приобретают это выражение от сознания своей принадлежности к высшей касте. Манеры ее были решительны, и ее воспитанность с трудом прикрывала убеждение, что если вы не на военной службе, то едва ли не приказчик. Она, ненавидела гвардейских офицеров, считая их заносчивыми, и не желала говорить о их женах, забывающих отдавать визиты. Одета она была богато и безвкусно.

Миссис Стрикленд заметно нервничала.

– Рассказывайте нам ваши новости, – сказала она.

– Я видел вашего мужа. Боюсь, что он твердо решил не возвращаться. – Я помолчал немного. – Он желает посвятить себя живописи.

– Что вы хотите сказать? – воскликнула миссис Стрикленд в крайнем изумлении.

– Вы никогда не замечали в нем влечения к таким вещам?

– Окончательно спятил! – воскликнул полковник.

Миссис Стрикленд слегка нахмурилась. Она старалась припомнить.

– Да, помню, пока мы не поженились, он возился с красками. Но это была неслыханная мазня. Мы обычно потешались над ним. У него абсолютно нет никаких способностей к живописи или чему-нибудь в этом роде.

– Конечно, это только отговорка, – сказала миссис Мак-Эндрью.

Миссис Стрикленд задумалась. Очевидно, она не знала, как отнестись к моему сообщению. Я оглянулся. Гостиная была приведена в порядок. Инстинкт хозяйки сказался в миссис Стрикленд, несмотря на ее огорчение. Квартира уже не носила заброшенного вида, словно меблированный дом, ожидающий нового съемщика, как это было в первый мой визит после катастрофы. Но теперь, когда я повидал Стрикленда в Париже, мне было уже трудно представить себе его в этой обстановке, среди этих людей. Я подумал, что и они сразу бы поняли, насколько он к ним не подходит если б увидали его теперь.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Современный художник. Замечания о работах Чарльза Стрикленда, соч. Эдварда Леггатта, изд. Мартин Сикер, 1917.

2

Чарльз Стрикленд. Его жизнь и искусство, соч. д-ра Гуго Вейтбрехт-Ротхольц, изд. Швингель Ханиш, Лейпциг, 1914.

3

Английская королева Елизавета I (1558–1603).

4

Стрикленд, его личность и работа, соч. его сына Роберта Стрикленда, изд. В.Хайнемана, 1913.

5

Экзегетика – наука, излагающая правила толкования текстов священного писания.

6

Картина была описана в каталоге Кристи следующим образом «обнаженная женщина-туземка островов Товарищества, лежит на земле около ручья. Сзади виднеется тропический пейзаж с пальмами, бананами и т. д. Размер 60x48 дюймов.

7

In extenso (латин.) – полностью.

8

Мосье не любезен.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/somerset-moem/luna-i-shestipensovik>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)